

КЛАССИКА  В ШКОЛЕ

И. С. Шмелев



Солнце мертвых

Иван Сергеевич Шмелев
Солнце мертвых
Серия «Классика в школе»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3004165
Солнце мертвых: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-54714-2

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включена повесть «Солнце мертвых» И. С. Шмелева, которую изучают в 11-м классе.

Содержание

Утро	4
Птицы	7
Пустыня	9
В виноградной балке	13
Хлеб насущный	16
Что убивать ходят	19
Нянины сказки	22
Про Бабу-ягу	26
С визитом	28
«Мементо мори»	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Иван Сергеевич Шмелев

Солнце мертвых

Утро

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, – опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока – пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках – чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат – не комнат, а залы роскошных из сказок Шехерезады – с люстрами в голубых огнях – огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов – нездешних. Я хожу и хожу по залам – ищу... Кого я с великой мукой ищу – не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... – подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду – цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных – с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит – я чувю это щемящей болью, – что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они – вне жизни. Уже – нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она – Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насыщенный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям – теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огородике помидоры – правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора?.. Сопенье, похлестывание веток... обгладывает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела – только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чашам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц – август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» – и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье – милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготовлять к зиме топливо. Зачем – не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном – стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг – точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, вовек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло – можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запахает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею – для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни – на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь – и хлынет в зашуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это – последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке – корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым гляncем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, повешали на себя тяжелые бусы-грушки – марилуиз.

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насыщенный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю – малютка гора Кафель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» – светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном, и черносливом, и крымским солнцем! – кровь темная. Сторожит Кафель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся – лесная.

Правее, дальше – крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром – розовый, к ночи – синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а – близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все – в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще – мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно – дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все – нездешнее. Ночью они вернуться. Утро срывает сны: вот она, голая правда, – под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и – не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, – под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках – пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная надалеко. Время придет – прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там – мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь – убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет – только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот – бельмо на глазу, калека. Когда-то – Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит – кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки – болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна – и ее захватил павлин.

ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь – ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди – ничьи. Так и павлин – ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы – соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:

– Не дашь?..

– Не дам. Видишь – ничего нету, Павка.

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распушит:

– Не дашь?!

Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повернется-потанцует:

– Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...

И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покрит-позовет по балкам – пава, может, откликнется! Глядишь – уж опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдет за горку, в Тихую Пристань, к Прибыткам: там дети – чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

– ...Э-оу-аааа!.. – пустынным криком кричит павлин. Жалуется? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день – в работе.

Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво головку – черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит – приглядывается к утру... И – молнией падает в виноградник.

– Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно:

– ...Э-оу-аааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине – все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклеивает дикий чеснок, лук гадючий, – от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит – пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

– Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклонить в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни?! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

– Простите меня, малютки. Ну, веди их туда... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину – и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но – вымахнет хвостом из пшеницы и попадетя грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

– Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

– Убей! Сам сицась убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу – в такое время!

– Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

– А ты их сеил? Последни зерно из глотки вирьвал! Тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам – вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

– Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее – и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли – и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей – они хоронились от людей где-то – голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянны колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось – и котловина затихла.

Пустыня

А что Тамарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громыхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

– Ку-ддааа?!

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагреня нос, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

– На-ззад!!

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде – пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это?! Это убивает мысли.

Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота – глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами – низенький, скромный, тихий – домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду – ни души, и кругом – пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит – долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет – повернется к морю. Спойет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины, – надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.

Бурей задрало железо – пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, – выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь – смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу – беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань – скамеечка на ножках, а возле – скорлупка-лодка. Сзади – плечиной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще – и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше – светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда – в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики – житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее – «Свете тихий»...

Я знаю эту усмешку далее. Подойди ближе – и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благодатная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума – хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

– Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком – кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце.

Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! – и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку – улыбку камня...

Сереет под Демерджи обвал – когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человеке стойло. И показала свою улыбку – швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки, ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

– Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратиться в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри – и так, и этак.

Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев – всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшие татары:

– Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрелят, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо – Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба, и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, – земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения... Одна голубая парча – на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито – все. Иссякло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится – засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она – синь-бель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах – груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок – утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ»¹, ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих – «мерсис»! И уральские камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» – китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей «диагонали», с нафабранными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеклом за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фаэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра – звоном бахчисарайским, – щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вилл в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящеюся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожилых, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле, у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях, – к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? Кому купаться?.. Все – иссякло. В землю ушло – или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на побережной дороге – ковыляет босая, замызганная баба с драной травяной сумкой, – пустая бутылка да три картошки, – с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

– А ска-зывали – все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин – гонит с вьючком дровишек, – угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

– Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухростой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины – без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха – пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами – вино ли, кровь ли... И этому верховому звездноосцу. Остановится перед разбитой виллой, глядит-пялит заспанными глазами... – чего такое?.. Приметит – стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

– А-а, едренать...

Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает мордочку и мычит, протяжно – на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не

¹ Название французского магазина.

съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли – от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера – все то же: нарвать виноградных листьев помолже, мелко-мелко порезать – и суп будет. Хорошо чесноку добавить – дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо – обманывать единственное живое, что нам осталось, – птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, слышав обманное звяканье жестяной кружки, – не зерно ли?! – разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

В виноградной балке

Виноградная балка... Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы – золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно – море. И – виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены – мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут – яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих – они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка – поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только – лозы... рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, – прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один – тенистый, солнцем еще не взятый; другой – золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад – синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве – синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

– Э-оу-а-ааа...

Нельзя не думать: настезь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах – кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

– Хле-а-ба-ааа... са-мый-са-ааа в пуговичк-уууу... са-амый-са-ааа...

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

– Ах, Воводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке – бьются.

– Са-а-мый-са-ааа...

– Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

– Хочу са-а-ла-аааа...

– Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ляля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

– А-а... сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?

– Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... – и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умыть, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке, и – о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она... в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у нее какой-то коврик... Каждую ночь дрожит – вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, – у Мопассана было... – и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас в огнях?! и люди весело и свободно ходят по улицам?! Париж... – а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... – а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города – великих! Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных – в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человеческих – пирам веселье, человечесьи кости – игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи – работы северных мастеров, «русский» волос – на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты – на портсигары, раки святых угодников – на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечесьей крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там – с... «правами человека»? В Великих Книгах – все ли страницы целы?..

О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны – нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его – нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

– Хле-э-ба-аааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!

– Сил моих нету, Господи... Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет...

Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходит. Вон – Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье – из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это – солнце обманывает, блеском, – еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноград-